

*We're never wrong,
constantly dreaming of another way*.*

СЕРЖ ТАНКЯН. THE CHARADE

* Мы никогда не ошибаемся, постоянно мечтая об ином пути.

Кисуля

22 СЕНТЯБРЯ

В двадцатых числах я становлюсь злая и похотливая, как животное.

Злобу излить легко. Она не избирательна: в это время раздражают даже те, кого обычно терплю. Крохобор, тупица, мямля, жлоб, бездарность, интриганка — и далее по списку.

С похотью сложно. Надо искать объект, а с объектами *этого рода* много проблем: улыбаться, тратить время на перебор, да еще, как назло, чего хочешь, никогда не находится. Вот и получается: бары, скучные переписки, лица сливаются воедино. Какой-нибудь бородач с жизнерадостным гоготом. Какая-нибудь мелочь типа налета на резцах — заметишь случайно в жестком свете и прощаешься, оставляя неправильный номер. И опять перебор лиц, сплошное «крутите барабан». Вопрос удачи.

Про барабан пришло на ум неспроста: вечерами я маюсь и включаю фоном выпуски «Поля чудес» впережку со старыми фильмами. Бесконечно трусит мокрыми улицами переводчик Бузыкин, улыбается своей жуткой улыбкой из-под

усов Мимино. Артист Яковлев, который переиграл князя Мышкина и Ипполита под тепленькой, покорно присаживается в «Ку». Я засыпаю прямо на диване в гостиной, и кондиционер, работающий на отопление, превращает мою кожу в пустыню. Наутро болит спина, и снится мне нескончаемая вязкая муть.

«Так дело не пойдет», — приходит в голову, когда я в очередной раз скатываюсь на пол. Со мной сползают подушки-буханки — диван кожаный, скользкий, новогрузинский стиль. Я поправляю их, и засыпаю вновь, и падаю в дурную похотливую бесконечность.

Кончилось дело, конечно, тем, что сутки перевернулись, словно песочные часики. В детстве у меня были такие, только вместо песка падали через узкое горлышко набрякшие синие капли какого-то геля. Время — это вязкие синие капли, ничего больше. Я засыпаю все позже, закрываясь подушками от рассвета, и встаю, когда солнце уже покидает свой пост, садясь за разрушенный театр.

Я приехала сюда по делам.

Главный режиссер сказал: а давай-ка дуй в Тифлис. Собирать фактуру, «цветные стеклышки» — он так это называет. Кажется, восточное опять входит в моду, ну или мода приходит на восток. Какие-то передовые техноклубы наоткрывали, молекулярная кухня, электрокары. Мне это все неинтересно. Я изнываю от скуки, от расхлябанности, от их

оскорбленной гордости. От мира они отстают лет на пятьсот: стремятся друг с другом кучковаться, липнуть, как огромная, залитая аджи-кой молекула.

Мне сняли квартиру в самом центре, и понеслась рабочая жизнь со звонками и бесконечными скучными текстами. На одиночество я не жалуюсь — это хорошо, я дышать не могу, когда рядом *другой*. Но в двадцатых числах...

Поделилась переживаниями с главным, он только рассмеялся: «Воздержание хорошо, когда придумываешь сюжет. Распыляться не нужно, успеешь еще». Распыляйся не распыляйся, а ни черта не идет в голову. Жир, жир, жир — тут сплошной фальшивый жир для туриста. Настоящего мяса нет. Снимать и описывать нечего, но признаться в этом пока нельзя. Вот утолю жажду и разберусь с этой странной командировкой.

27 СЕНТЯБРЯ

Никого. Ничего.

Это и про сценарий, и про похоть.

Заходил знакомый оператор со своей девушкой. Пришлось хотя бы чуть-чуть убраться в квартире: распахать манатки в шкаф и комод, отмыть стол от чайных следов. Одна кружка приклеилась, что-то липкое было на дне. А внутри оса утонула.

Оператор огромный, задевает головой потолок. Лицом похож на статую с острова Пасхи. Одолжил у меня пленочную камеру, хочет в горах снимать пастухов и баранов. Вышла с ними из дома, пошли пешком в центр: там есть дворик, где торгуют посудой и древними люстрами; всё в бликах, легонько позвякивает хрусталь. Одна торговка втюхала мне крохотный заварочный чайник, синяя глазурь и золотые узоры. Как будто волшебный, загадать желание. Домой вернулась полная сил и даже кое-что записала.

Правильно, вот в чем секрет — не спать и перевернуть сутки обратно. Способов выгнать муть из головы не так много: кофе, прогулки по набережной, еще больше кофе. Правда, гулять по местным дорогам не очень приятно — не услышишь чего-нибудь, и старая «Лада» въедет тебе прямо в зад. Или скутер, который везет еду, — будешь валяться посреди проспекта вся в хинкальном бульоне и в ошметках склизкого теста.

Погода стоит хорошая, октябрь на Кавказе ласковый, золотой. Равняется петербургскому лету. От свежего воздуха закружилась голова, и я решила посидеть на набережной — посмотреть на Куру, посчитать башенки крепостей, поразглядывать стелу памяти трех сотен воинов, *самаси арагвели**. Возвращалась домой мимо зоолавки, мимо прачечной в подвале, мимо

* Триста арагвинцев (груз.).

ветхих зданий с флагами простыней из окон, мимо ларька с дрянным кофе и почему-то пузырящимися стоптанными ботинками, как на детских рисунках. Вокруг стояли не то кувшины, не то бочки, неизвестно для чего приспособленные. Я обогнула лавку, мысленно кивнула памятнику-князю с птичкой в руке и спустилась к перилам.

Отсюда город кажется торжественно тихим, будто застывшим перед пятничной огненной бурей. Я представила воронку, из которой будто вылетают хлеб, мясо, вино, спелые гранаты, которые продают на каждом шагу, их сок, который ничем не смывается со скатертей и одежды. Я представляю дымящиеся подносы с хинкали, и огромные шампуры баранины, и шипящие маслом кеци прямо из печи, и горшочки с томящимся супом. Если вылить в зеленоватую эту реку все запасы из погребов, по двадцатке за бутылку или за сотню, для туристов и своих, красное, белое и розовое, с осадком и без, — если все это спустить прямо в Куру, она еще долго будет розоватого цвета, как кровь, как любовь, как блаженство. По легенде, на мосту Метехи однажды снесли головы сотне тысяч грузинских витязей — и вода была красной, ярко-красной от крови. Теперь там дерутся молодые *бичеби**, а лучше бы пили, захлебывались сладостью забродившего винограда.

* Мальчики, парни (*груз.*).

Где-то за голубой мечетью сидят в серных банях арабы, где-то на улицах без фонарей через час откроют бордели, замаскированные под салоны массажа. На углу Руставели и улицы Лермонтова открыта сосисочная, возле которой кряжистые местные мужики смакуют сплетни и играют в карты, слюнявя пальцы, и каждый темный закоулок старого города, как лабиринт, скрывает свои удовольствия.

Всё есть в этом городе, всё, любые наслаждения для кого угодно. И мальчишки, конечно же, какие захочешь. Высокие с орлиным профилем, пахнут мускусом, чем их ни надуши. Кудрявые с книжечкой — дымчатые глаза, тонкие пальчики. Рыжеволосые потомки гордых князей, тихие медвежата, модники и бедняки в одной драной футболке, порочные наркоманы и спортсмены, славяне, арабы, турки, хрупкие и высокие, крепкие, слабые, обидчивые и, наоборот, прилипчивые, губастенькие с лицами, будто высеченными из камня.

Эти мальчишки смотрят на тебя в метро, с отстраненным видом крутят бокалы в модных местах, шатаются вдоль улиц праздными компаниями. Удовольствие их спин, рук, дыхания — совсем рядом, но никак не подходит ближе, не дается мне в руки, его никак не схватить, не овладеть, не распробовать...

В двадцатых числах почти невыносимо бывает жить.

Запала не хватило надолго: опять встаю поздно, опять почти не выхожу из дому; только сижу на подоконнике и смотрю, как борется с ветром мой кипарис. Но чудо случилось, Аврора была на моей стороне, как говорит наш дворник: нашелся *объект*! И какой — малахитовые глаза, врубелевский «Демон сидящий», репродукция сто семьдесят на шестьдесят.

Но — по порядку.

Позавчера я проснулась в пять пополудни, не удивляясь уже ничему и почти себя не ругая. Сразу отчаянно захотелось есть, не кофе и не бутербродов, а что-нибудь потяжелее, уютнее. Идти за пури* и овощами на рынок было поздно, а бежать куда-то за харчо бесполезно: пятница, все столы заняты мужиками, матронами и их визгливыми бавшеби**. Дети для них — боги, дети всегда рядом, целых пять штук соседских за тонкой перегородкой. Обычно они кричат, долбят по клавишам пианино, а потом, после длинной тирады отца, принимаются рыдать на все голоса. «Ар-ми-и-и-и-и-инда! — тянет младший, захлебываясь соплями. — Ара-а-а-а!»***»

* Хлеб (*груз.*).

** Дети (*груз.*).

*** «Не хочу! Нет!» (*груз.*)

Но в тот вечер и они молчали. Время застыло, и воздух заполнила пыль опавшей листвы.

В отчаянии, ругая себя, ненавидя за лень своего изнеженного мягкого тела, пошла нарезать круги вокруг квартала. Через час опустилась на ту самую найденную скамейку — рядом с памятником, откуда открывается вид на Куру, вечный огонь для самаси арагвели и три храма. Я смотрела на другой берег, но думала о чем-то очень здешнем, конкретном, назойливом. Купить по дороге домой масла, снять денег, написать хозяйке про сломанный душ. Комиссия в банке, заваршние дела, помыть пол.

Но фоном лежали мои похоть и гнев, как скатерть кричащего цвета, которая ни к чему на столе не подходит. Все было окрашено алым, в цвет заката.

Вдруг кто-то уселся справа. Он подошел такими легкими шажками, словно тень, что я даже вздрогнула и резко обернулась. Мальчик, наверное из компании подростков-травокуров наверху. Щуплый, лет восемнадцати, губы на поллица, на шею свисают темные завитки.

Мальчик жестом попросил сигаретку — это было очень кстати, мне и самой хотелось курить. Достала из рюкзака пачку и протянула ему. В ответ он движением, которое мечтало выглядеть изящно, прикурил мне от своей зажигалки. У него маленькие руки с длинными пальцами и царапинами на костяшках. Уличный. Лицо красивое, скуластое, но мягкое. Кожа как у персика. Еще

черные ресницы, такие длинные, каких у меня не получилось бы ни с какой тушью на свете, и кончик брови вразлет. И ведь ни черта же с собой не делает, вряд ли ценит эту красоту, вряд ли вообще знает, что красив, — а если и знает, то скорее хочет избавиться от этого напрасного дара.

Почувствовав мой взгляд, он развернулся. Глаза у него ярко-зеленые, но белки, конечно, покраснели от травки*. Заговорил, и сначала мне показалось, что у него проблемы с речью: заикание, запинание, все сразу. Потом я поняла, что это все его английский, broken** настолько, что от него осталось маловато кусочков. Он долго подбирал слова и нанизывал их на предложение так мучительно, что процесс становился почти осязаемым.

— Почему ты одна тут? — наконец выдал он.

Для них ненормально, если человек проводит время один, это верно. У тебя нет права на личное время, пространство, секреты, уединение. Даже у банкомата кто-нибудь да заглянет через плечо — без злого умысла, без умысла вообще. Просто так.

Я пожала плечами. Он затаился, стараясь держать запястье вывернутым. Я ждала, пока

* Является наркотическим веществом и запрещена на территории Российской Федерации.

** Сломанный, корявый (англ.).

он докурит и, наверное, уйдет, стрельнув еще две-три сигареты. Странно, но мне не хотелось, чтобы он уходил. Нам не о чем особенно было говорить, и, пока он пытался выдавливать из себя слова, я разглядывала его и в душе по привычке жалела, что не привела лицо в порядок.

Но произошло странное: он затушил окурок и забрался на скамейку с ногами, как птенец. Черные кудри тут же рассыпались по щекам — он нетерпеливым, детским движением заткнул их за уши. Зачем-то попросил показать мой плейлист, полистал его так же быстро и нетерпеливо, помотал головой, отдал телефон и включил что-то свое. Я уставилась на свои кроссовки и что-то спрашивала: имя, где он живет, чем занимается.

Компания наверху давно ушла — оказалось, он вообще был не оттуда, просто проходил мимо, он часто бывает здесь, это как бы *его* скамейка, а не моя, но ничего, он разрешает. Каким-то животным движением он потянулся ко мне, понюхал мои волосы и сказал, что я *smell like heaven**. Я рассмеялась. Он потерся кудрями о мое плечо — вот тогда-то я впервые назвала его Кисулей, пока только про себя. У него органично, как будто независимо от его маленькой головы, все получалось: сесть чуть ближе, взять меня за руку, разглядывая пальцы, чмокнуть в щеку, погладить по шее, наконец вобрать своими большими

* Пахнуть как рай (*англ.*).

мягкими губами мои, и поцеловать меня, и требовательно положить мои ладони на свои щеки.

Ситуация складывалась идиотская и киношная сразу: внизу Кура, древние храмы, зажигались первые фонари. Кругом лежала история, величавая и жестокая, а посреди всего этого сидели мы, странные двое, нелепые здесь. «Критский народ производит больше истории, чем может переварить», — вспомнилось мне из книги. Наверное, он вообще не читает книг.

— So, you're happy with your life?* — зачем-то спросила я.

Он покачал головой и выпятил губы. Он начинал раздражать этой гримасой, да еще его английский — и одна часть меня, нормальная, хотела распрощаться и уйти домой; но другая, похотливая, злая, жестокая, хотела остаться, попробовать его, разжевать, рассмотреть со всех сторон это фарфоровое лицо, хрустальные глаза, смоляные кудри.

«Почему меня можно воспринимать как кусок, а я не могу притащить к себе домой красивое существо, трахнуть и выгнать?» В то же мгновение я решила, что могу. А он тем временем, ничего не подозревая, улегся ко мне на колени и жаловался: что он живет с матерью, сестрой, ее парнем и еще кучей народа, что ему хочется сбежать от них, какие у них very big fights**, какой

* Так ты доволен своей жизнью? (англ.)

** Здесь: очень крупные ссоры (англ.).

это плохой район, что он хочет уехать куда-нибудь. Мне хотелось побыть роковой соблазнительницей, а я чувствовала себя доброй мамочкой. Ужасно.

— Я хочу газировки, попкорна и посмотреть «Гарри Поттера», — мяукнул он откуда-то снизу.

Я погладила его по голове.

Он пах не смесью мускуса с потом, как местные мужчины, а пороком и сладостью. Сигаретный дым и какой-то дешевый, кажется женский даже, парфюм, плюс порошок, которым мама заботливо выстирала его рубашечку. Рахат-лукумчик, наложник, животное. Кавказский пленный. Когда мы вставали со скамейки, его лицо расплылось в улыбке. Я заметила щербинку, но даже она его не портила, придавала только что-то цыплячье и незащитное. «Что я буду с ним делать?» — мелькнула мысль.

Но мы уже поднимаемся к дому, уже проскользываем, озираясь, в арку, уже взлетаем по гремящим ступенькам. Он чуть ли не ниже меня ростом, заметив это, обиженно насупил. Он вообще меньше: у него совсем детское, но в общем красивое тело с очерченным прессом и длинными лягушачьими ножками. Сидя на кровати, он наклонился, снимая белье (и без того маленькие боксеры болтались на нем, как флаг), — и на просвет лампы стал виден весь его позвоночник.

Все произошло быстро, неловко, будто не настоящему. То ли он был слишком легким, как

перышко, то ли слишком неопытным, но я не почувствовала почти ничего. Он не *брал*, этого он не умел — он елозил, терся и заискивал, вот что он делал. В самом конце отвернулся и издал тихий, даже смущенный вздох. Вздогнули и опустили лопаточки, и сам он превратился в эдакий тесный мешок костей. Улегся рядом и принялся гладить меня по голове — но и голове было неудобно класть на его худое плечо, словно на ветку.

На ребрах слева у него красовалась татуировка с выцветшим до синевы котом. Партак, набил какой-нибудь дружок самодельной машинкой в подвале.

— You are mine*, — сказал он и тут же уснул.

Спать не хотелось. Хотелось есть. Я прошлепала на кухню — на счастье, в холодильнике лежал оставшийся с завтрака кусок хачапури с раскрошившимся сыром. Я включила газ, разогрела его на красной, словно игрушечной, сковородке, которую мне оставила хозяйка квартиры. Порезала розовый, уже лопающийся от спелости помидор на ровные части-лодочки, посыпала сванской солью. Я ела и думала о том, что натворила, — но думала без сожаления, как о милом хулиганстве, авантюрной выходке.

Ночью мне снилось, что я показываю голого Кисулю на выставке в галерее. Мимо него проходят подруга, знакомые, бывший любовник

* Ты моя (англ.).

с новой дамой под ручку — и все одобрительно кивают, а Кисуля вертится на своем помосте, как в микроволновке. Потом он внезапно стал раздуваться и превратился в громадного бройлерного цыпленка с блаженной улыбкой-клювом. Я металась по залу, и мне было ужасно стыдно во сне.

Утром его не пришлось даже выпроваживать. Он пытался поцеловать мою спину, чмокая полными губами-присосками. Я лежала как каменная. Послышался шорох одежды, в коридоре обиженно хлопнула дверь. Я подскочила и быстро обыскала квартиру: компьютер, телефон, кошелек, паспорт — все на месте, не тронуто. Заперла дверь изнутри и, довольная, снова провалилась в сон. Встала уже в обед — в прекрасном, благостном настроении.

Мою крохотную ванную нагрело солнце через окошко под потолком. Вверх-вниз по лестнице бегали дети, и доносился мирный запах разварившейся гречки. Я стояла на теплых квадратах пола и долго грелась под горячими струями, смывая с себя вчера, скамейку, губы-присоски.

«Как хор-р-рошо без женщин и без фра-а-аз», — пришел в голову грассирующий голос.

Чувствовалось, что мне предстоит удивительный день, его предвкушение щекочет изнутри, как шипучка. Азарт, восторг и вместе с тем спокойствие, величавость даже — всегда после того, как удовлетворишь жажду. Зеркало запотело, я протерла в нем окошко пальцами. Такое

красивое отражение, каждый изгиб. Ушла вся лишняя вода, очертились скулы, и во взгляде что-то новое — это взгляд силы.

10 О К Т Я Б Р Я

Первые слова, которым учишься здесь, очень простые: *чеми* — *шени*, мой — твой. Они уж наверняка пригодятся. Мне пригодились вчера: соседка постучала в мою железную дверь и с извинениями отдала большой комок ткани. «*Шени, шени*», — приговаривала. Я узнала свой пододеяльник, который повесила над лестницей сушиться. Еле-еле нашла место между детских носочков, покрывал, каких-то футболок, даже один стираный пакет там висел. Неудивительно, что соседи до кучи сняли и мой пододеяльник. Вот бы еще прищепки вернули — хотя это, конечно, мелочь, пускай уж.

Нужно, наверное, рассказать, как устроен наш двор. Это называется «палаццо», или дворик итальянский. Проходишь в арку и видишь лестницы сразу на второй этаж, открытые двери, играющих в нарды стариков и усталую собаку в будке. Дом похож на виммельбух, из окошка можно смотреть часами, выискивая детали: трехколесный велосипед на чьем-то балкончике, кормушка для птиц, резные ставни напротив, ржавая керосиновая лампа, фикус, дырявый тюль в окне первого этажа, сухоцветы. Очень долго, правда,

не получается: соседи смотрят в ответ, им все любопытно, они впиваются в тебя, не стесняясь. Любого, кто заходит в наш дворик, провожает пятнадцать пар настороженных глаз. Любое событие — будь то приезд скорой к древней старухе из угловой квартиры, землетрясение или просто солнечная погода — обсуждается на лобном месте с неизменным щебетанием, возмущенными *вайме* и *вапце**. Никто не работает, стоят и точат лясы часами. Время останавливается, и напоминает о нем только колокол церковки напротив: звонит в шесть, звонит в девять, особенно жутко и торжественно — в полночь.

Когда я переезжала, мой приятель, громадный местный с толстой коричневой кожей, поморщился, заворачивая во двор: «Вы — туристы, вам такое по кайфу, а мы ненавидим эти курятники». Мне и правда нравится: нравится ощущать людей и чувствовать себя в центре жизни. Еще меня завораживает угол здания, которое виднеется сразу за нашим фасадом — бледно-розовый дом с колоннами, закругленный, как утюжок. Будь я губернатором, разместила бы там национальный банк или биржу, но то был всего лишь жилой дом со списками жильцов на подъездах, ветхими, написанными кириллицей.

Я вышла из квартиры, пересекла двор, кротко кивнув старухе с бельмом на глазу (вырашивает

* Междометия грузинского языка.

фикусы, следит за мной, утыкая здоровый глаз в дырку тюля). Было тепло, но ветрено, хотелось сесть где-нибудь — поесть и подумать. Я перебежала дорогу под визг тормозов (никто не умеет водить, никто!) и зашла в кафе, которое держит армянка в крашенных буклях. Села у окна, лицом к телевизору: из него доносилось бляенье местного шансонье. Был даже клип с его кривляющимся лицом, брови домиком, и снят он был будто олигофреном на зажигалку.

Хозяйка подошла, потряхивая буклями, положила передо мной меню, заговорщически нависла над столом и начала втюхивать мне свое домашнее красное, «графинчик вот такой, мал'енький, цота-цота». Она показала расстояние между перламутровых ногтей.

— А я уже пила у вас вино, — едко улыбнулась я. — Помните, заходила? Я здесь живу напротив.

— Да, помню-помню, — она покачала головой. — Я тебя сразу узнала.

— Правда?

— Конечно! Такую красивую девочку как не запомнить. — И цокнула языком.

Не помнит она ни хрена.

Я попросила харчо, он тут эталонный, в горшочке, такой густой, что ложка стоит. Старуха все-таки принесла мне запотевший графинчик сладкого, как сок, гранатового вина и целую корзину хлеба. Я кивнула ей и открыла блокнот. Сценарий не движется, движется только стрелка

на весах, и все время вправо. Будь я ресторанным критиком, мне не было бы равных в этом городе, зуб даю.

12 О К Т Я Б Р Я

Вчера ходила к знакомым экспатам. Живут через три дома, снимают большую современную хату. Ничего примечательного, хорош только балкон с подвесными креслами-качелями, с видом на весь центр и гору Мтацминда. Еще коты хорошие. Я принесла черешни и смотрела, как зажигаются огоньки на соборе Цминда Самеба. На службе еще не была, но видела фотографии: мальчик с огромными ореховыми глазами стоит и молится, свеча в руке озаряет нежные усики. На плечах пиджак, может дедов — велик, болтается. О чем-то думает мальчик, чего-то просит у боженьки?

Пошли в гостиную кино смотреть. Хозяина зовут Петр, у него мышинная прическа и расплющенные, будто молотком, пальцы с некрасивыми волнистыми ногтями. На нем в тот вечер была футболка с надписью GUILT IS A USELESS FEELING* через всю грудь. Конечно, сука жирная, все тебе юзлесс, жизнь должна быть в кайф. Пришла Рита, ведет здесь терапевтическую группу для женщин. Претенциозная до ужаса,

* Вина — бесполезное чувство (англ.).

носит черные балахоны и перстень с желтыми прозрачными камушками. Девочка Петра, маленькая, с лицом крыски, внесла в комнату абрикосы и погасила свет.

Смотрели фильм про московское метро. Мерцающий свет, подземелье, мрачные несчастные люди. Пьяный вэдэвэшник орет на статую колхозницы. «Ох тлен, ох безнадега» — примерно такой посыл. Если снять такое же кино про нью-йоркское метро или в Париже, где мертвых бомжей оборачивают в золотую фольгу, как конфетку «Ферреро Роше», то получится еще хуже, и мрачнее, и безысходнее. Но кому это интересно?

Мои несчастные, замеченные пургой родные места. Тоска, в которую закутаться и уснуть навечно. Петр качает головой, сморщив осуждающую гримасу. Не выдержала, сказала, мол, люблю это все, это *мое*. Была длинная пауза и снисходительные взгляды, как на идиотку. Больше не позовут — и слава богу.

Шла домой и вспоминала Таню, знакомую из Петербурга. Она приехала в самом конце лета получать американскую визу. А до того жарилась в Турции, каталась там на доске, которую пристегивают к катеру. Сидели в парке, молчали и кормили птиц, чья-то сумасшедшая от счастья собака бегала и кусала фонтан, захлебывалась.

— Голуби в Турции совсем другие, — сказала Таня. — Светло-коричневые такие, кофейного цвета, меньше в два раза. Эти, — она кивнула, — уродцы по сравнению.

Жирный фиолетовый голубь, словно обидевшись, курлыкнул и улетел. Таня вызвала такси и тоже умчалась — рабочий созвон, криптовалюта. Теперь все заколачивают бабки вместе со своими бойфрендами, мужьями, парнишками. Деньги дарят невесомость, красивая квартирочка и вкусное авокадо на завтрак скрепляют лучше, чем секс.

20 О К Т Я Б Р Я

У меня опять жажда — опять *бичеби**.

С одним ходила в Чайный дом: мы сидели друг напротив друга, он обнимал чашку, а из рукавов толстовки высовывались маленькие, как у хоббита, ручки, сдобные ладошки. Коснись он меня этими пальцами, и я бы скончалась от ужаса прямо в его машине. Важный, часики, борода, толстовка плотная-модная. Пошли в парк на соседней улице.

— Знаешь, как появилась наша страна?

Я этих историй про заспанного грузина слышать уже не могу.

Пошла с другим — какой-то египтянин, *works for American company***.

В переводе: денег куры не клюют, малышка. Выбрал, конечно, самый пафосный ресторан на самой туристической

* Мальчишки, парни (*груз.*).

** Работает на американскую компанию (*англ.*).

улице. В зале отвратительно надрывался рояль, старая пианистка мучила его артритными пальцами.

«What a beautiful music»^{*} — и мечтательно расплылся в улыбке. Мягкий, липучий, темный.

Принесли рыбный стейк со сливочным соусом. Красиво: серебряные вилочки, ножички, фарфор. А стейк воняет — ну что я могу поделаться — немытой мандой. Египтянин все болтал и болтал, настроился на продолжение. Убежала от него, затолкалась в вагон, выскочила на своей станции и пошла на скамейку под стелой — подышать. Рыбный запах будто впитался в меня.

Телефон завибрировал. «Увидимся еще? Когда? Молчишь? Ясно. Могла бы и ответить. Другие девушки, по крайней мере, *made everything clear*»^{**}. Через пять минут еще сообщение, и еще, и еще. «Ты плохой человек», — закончил. Я плохой человек.

Дул теплый ветер, было свежо и царственно тихо. *«Но-о-очь, мы вдвоем грустим — не говорим, молчим...»*

...все они одинаково раздражают, но Кисюля хотя бы красивый. Надо ему позвонить.

^{*} Какая красивая музыка (англ.).

^{**} Всё прояснили (англ.).

Утром он впервые *взбрыкнул*. Прошел уже месяц, как я подобрала Кисулю, хотя не планировала встречаться с ним даже во второй раз. Но скука никуда не делась, похоть не растворилась, а вариантов лучше пока не нашлось.

Он невыносим — да, совершенно невыносим. Капризен — не как, к примеру, обласканная вниманием звезда, а как тупой несносный ребенок. Впрочем, это только когда болтает. Если занять его рот чем-нибудь, то можно даже представить в этом теле совсем другое содержание, дорисовать Кисуле щепотку ума, хотя бы самую малость — тогда уже становится приятно, тогда можно получать от него удовольствие...

Стал липнуть ко мне и требовать объяснений: неужели я просто твой *fuckboy*? Неужели я ничего больше не значу? А что ты думаешь обо мне? Так поступают не слишком умные цыпочки в судорожном поиске, о чем поговорить, — и не могут найти, и начинают клевать мозги и возмущаться, гнусавить, ныть.

Но я ведь не заводила цыпочку.

— Ты красивый, — я улыбнулась и погладила его по остренькому плечу.

— И все? — Он нервно заложил кудри за уши.

— Ну, перестань.

Я задумалась.

— Наверное, еще добрый. Вот, — сказала я после паузы.

— Thanks, thank you very much*. — Он опять выпятил губы и принялся терзать их подушечками пальцев. Потом подскочил и, обернув бедра пледом, демонстративно ушел. Через десять минут донеслась музыка — эти местные рэперы поют про то, какие они мамкины гангстеры, ясно даже без перевода. Еще через пять его куриное тело замаячило у окна, и комнату наполнил табачный запах. Наверное, у себя в голове он прямо герой кино.

Точно. Вышел из-за шторы, сел рядом со мной на диван, будто готовый к прыжку. «А что дальше будет? А чего ты от меня хочешь?» Я задумалась и сразу вспомнила сотню таких же разговоров с юношами и дядечками постарше. Давно, лет десять тому назад.

— I want you to be happy in the first place**, — с фальшивой улыбкой сказала я и протянула руку к его голове — примирительно.

Не сработало. Кисуля посмотрел на меня — глаза у него сделались голубые-голубые — и размеренно, как никогда четко произнес:

— *Fuck you.*

Моя рука застыла в воздухе.

Дальше была длинная и напыщенная тирада. Я опознала только одно слово — бозо, сука. Это про меня, я, значит, сука.

* Спасибо, большое спасибо (англ.).

** Прежде всего я хочу, чтобы тебе было хорошо (англ.).

Я ничего не ответила — сделала вид, что не поняла. Ждала, пока он заткнется и хлопнет дверью. К сожалению, насовсем он уходит редко: возвращается и сидит до победного конца, обиженно дует губы, молчит, звонит кому-то — деловая колбаса. Поверила бы, не вставляй он «план» через каждое слово. Вот оно, единственное дело его жизни: где бы травки* найти.

Каким-то образом лениво успокоила его, и он даже просил прощения: подлизывался, спрашивал свое корявое «Are you still angry with me?»**. Я вообще не была энгри, только устала. Знаю, чего он от меня хочет: чтобы я полюбила его, чтобы я восхищалась им, чтобы была без ума, чтобы я слушала его рассказы про друзей, которые дерутся на ножах, играют в казино на последние деньги и воруют телефоны из задних карманов туристов. «Ах, какой ты опасный! Ах, какой ты умник! Боже, я люблю тебя и буду любить всегда, ты лучший мужчина на свете, никогда такого не было — и вот опять».

Но все это было неправдой. Прошло несколько недель, прежде чем я поняла: то, ради чего я притащила Кисулю с улицы, мне с ним делать не нравится. Он слишком легонький, неопытный и примитивный. Great*** ему кажется все, от всего он хнычет, извивается, вздрагивает и стонет.

* Является наркотическим веществом и запрещена на территории Российской Федерации.

** Ты все еще на меня злишься? (англ. *искаж.*)

*** Здесь: крутым, нереальным (англ.).